

# БЕЗ ЯРЛЫКОВ И ШТАМПОВ

## ОБРАЗ ВИЛЕНСКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА М.Н. МУРАВЬЕВА В СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ



**Александр БЕНДИН,**  
доцент Института  
теологии имени  
святых Мефодия  
и Кирилла БГУ

Прежде чем обратиться к теме статьи, представляется необходимым дать краткий ретроспективный анализ ситуации, сложившейся в современной историографии в такой сложной сфере, как взаимоотношения исторической науки и идеологии национализма. Для начала следует обратить внимание на то, что еще в начале XIX века усилиями историков, поддерживаемых государством, сформировался принципиально новый тип историографии, определяемой в качестве национально-государственной. Явление это было практически неизбежным на этапе формирования национальных государств и национального самосознания. Главные прагматические функции этой «националистической истории» были подчинены задачам формирования национальной самоидентификации и самоутверждения, то есть конструированию «образа нации». Во второй половине XIX – первой трети XX века процесс национализации истории приобрел заметную динамику, а национально-государственные истории становились все более этноцентричными.

Однако, как отмечают известные российские исследователи, уже с 1920-х годов «националистическая историография» становится объектом критики, и термин «национализм» приобретает негативный оттенок в демократически ориентированной части профессионального сообщества. С середины XX века профессиональные историки в развитых странах начинают бороться с националистической историографией, и она постепенно выводится за рамки исторической науки. В 1990-е годы возникла новая волна националистической историографии, на этот раз в ставших независимыми бывших советских республиках. Поскольку многие историки в этих странах пока продолжают существовать в условиях

автаркии, здесь сохраняются крайние проявления национализма и в профессиональной историографии [1].

Возвращаясь к теме статьи, можно с уверенностью сказать, что одним из свидетельств такого проявления национализма в исторических трудах по отечественной истории XIX века стала характеристика административно-политической деятельности Виленского генерал-губернатора М.Н. Муравьева в Северо-Западном крае в 1863–1865 годах. Негативный стереотип в восприятии образа М.Н. Муравьева и его политики превратился в долгоживущий общественно-исторический миф, созданный еще в дореволюционной националистической историографии и активно воспроизводимый на протяжении десятилетий советскими, а теперь уже и постсоветскими исследователями и популяризаторами отечественной истории. В их совокупной интерпретации политический образ М.Н. Муравьева и созданной им «системы» управления Северо-Западным краем предельно упрощается и наделяется исключительно негативными характеристиками. Достаточно вспомнить набившие оскомину ярлыки «реакционера» и «вешателя», которые уже более ста лет переносятся в историографию из революционной, эмигрантской и современной публицистики.

Невольно возникает вопрос, в чем же причина того, что характеристики и оценки событий 1863–1865 годов, сформированные в лоне советской историографии, подхватываются и утверждают в историографии национальной, пришедшей к ней на смену? Какая общая основа объединяет исследователей, стоящих, казалось бы, на принципиально различных методологических позициях? Ведь на первый взгляд ситуация действительно выглядит парадоксальной. Советские историки, действуя в соответ-

ствии с марксистской схемой отечественной истории, сформировали и утвердили в коллективном сознании набор характеристик относительно политического образа виленского генерал-губернатора, которые, как ни странно, в основном совпадают с оценками и характеристиками, принятыми в новой национальной историографии. Более того, в 1990-х годах, когда монополия марксистской методологии, по-видимому, стала уходить в прошлое, оценки эти стали еще более жесткими и эмоционально насыщенными.

Чтобы убедиться, достаточно просмотреть ряд изданий, вышедших у нас в республике за последние 10–15 лет. Студенты, изучающие важнейшие события отечественной истории, в частности польское восстание 1863 года и его социально-политические последствия на территории Северо-Западного края, вновь сталкиваются со знакомой поколению советских людей идеологической риторикой, призванной воздействовать на воображение читателя. Язык учебных и научных изданий насыщен негативными образами и метафорами. Вот, например: «Царизм руками Муравьева Вешателя жестоко расправился с участниками восстания»; «Генерал-губернатор Муравьев топил восстание в крови», «Результаты правления генерала Муравьева были ужасными и для Литвы, и для Беларуси», «В условиях ужасного террора, измен и шпионства» и т. д. [2]. Но можно ли принимать весь этот выстроенный историками метафорический и образный ряд в качестве инструмента научного осмысления прошлого? Попробуем разобраться. В доказательство реального существования «страшного террора» со стороны виленского генерал-губернатора авторы приводят известные цифры – 128 человек, казненных по приговору суда, и 12 483 человека, высланных за пределы края [3].

Для исследователя, непредвзято относящегося к событиям тех лет, очевидно, что эти люди наказаны за конкретные проступки, признанные законом в качестве тяжчайших уголовных преступлений. Это убийства мирных жителей с целью запугивания населения, участие в вооруженных выступлениях против государства, квалифицируемое законодательством Российской империи

как мятеж. Тяжким преступлением являлось и подстрекательство к мятежу, как, например, это делали некоторые католические священники. С точки зрения закона повстанцы были мятежниками, так как они, отказавшись от данной ими присяги на верность российскому императору Александру II, вышли из повиновения государственному закону и стали добиваться с оружием в руках восстановления независимой Речи Посполитой в восточных границах 1772 года. Можно уважать радикальный политический выбор осужденных, высоко оценивать их приверженность идеям польского национального движения и любовь к своему отечеству, но считать их невинными жертвами жестокого террора по крайней мере абсурдно. В противном случае придется признать справедливым принцип ненаказуемости преступлений, а государству – отказать в законном праве на защиту целостности своих границ.

Известно, что в вооруженных выступлениях на территории Северо-Западного края приняло участие около 77 тысяч повстанцев. Следовательно, различного рода уголовным наказаниям было подвергнуто всего лишь 16% их участников. Остальные сумели вернуться домой, не понеся наказания [4]. Если подавляющее большинство этих людей, изменивших присяге и нарушивших закон, не понесло никакого наказания, то по каким же тогда критериям оценивать поведение М.Н. Муравьева по отношению к этой массе повстанцев, которые с юридической точки зрения были государственными преступниками? Возможно ли вообще, характеризуя политику генерал-губернатора, обоснованно употреблять сам термин «террор» в его прямом, а не метафорическом смысле? А если такое все же происходит с завидным постоянством, должно предположить, что историкам, употребляющим этот термин, хорошо известны какие-то иные, более гуманные методы борьбы цивилизованного государства с вооруженными выступлениями сепаратистов в прошлом или даже настоящем, с которыми можно было бы сравнить деятельность М.Н. Муравьева. Но тогда было бы вполне уместным привести критерии и примеры, в соответствии

## **БЕНДИН**

**Александр Юрьевич.**

Родился в 1956 году в г. Измаиле Одесской области. В 1982 году окончил исторический факультет Белорусского государственного университета. Кандидат исторических наук.

В настоящее время доцент Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ, докторант Санкт-Петербургского института истории РАН. Сферой научных интересов являются русская религиозная философия, история Православной церкви, проблемы веротерпимости в Российской империи в XIX – начале XX вв. По указанной проблематике имеются публикации в научных изданиях Беларуси, России и других стран.

с которыми административно-полицейские и судебные методы преследования, применяемые в чрезвычайных условиях для борьбы с вооруженными повстанцами и лицами, их поддерживающими, историк может квалифицировать как террористические и жестокие. Во всяком случае, стало бы понятно, на каком основании историки дружно выносят свой обвинительный вердикт М.Н. Муравьеву и его политике. Но так как вятные на-

учные критерии целесообразности того объема военно-полицейских и административно-судебных мер, которые были разработаны и применены генерал-губернатором для борьбы с восстанием, в текстах отсутствуют, оценки его деятельности неизбежно приобретают эмоционально окрашенный, субъективистский характер, неуместный в профессиональной историографии.

Обвиняя М.Н. Муравьева в чрезмерной жестокости к повстанцам, ни один из авторов не привел статистику революционного террора, который насаждали «революционные демократы» и «шляхетские революционеры» в 1863 году по отношению к мирным жителям края – белорусам и литовцам. Более того, о самом революционном терроре, о физическом и психологическом насилии, развязанном польскими повстанцами, и теми, кто им сочувствовал, о бессудных казнях гражданских лиц, чья вина заключалась в верности российской монархии, историками не было произнесено ни слова. Казалось бы, что для объективного анализа этого характерного для восстания явления имеются все необходимые основания, тем более что активным идеологом беспощадного революционного террора был Викентий Константинович Калиновский [5]. Стоит ли говорить о том, что создание героической национальной мифологии из имени, дел и текстов этого «пламенного революционера-демократа» несовместимо с необходимой для историка научной беспристрастностью по отношению к предмету исследования. В то же время изучение результатов террористической деятельности повстанцев, определение социального, этнического и рели-

гиозного состава их жертв, методы и формы террора, анализ мотиваций, заставляющих прибегать к убийствам мирных граждан, – все это является необходимым элементом исследовательской стратегии вооруженных социальных конфликтов. В особенности таких, которые в силу своей остроты и масштабности приобретают характерные черты явлений гражданской войны. Однако в нашем случае факты, противоречащие задачам героизации бывшего революционного, а теперь уже и революционно-национального мифа, попросту игнорируются. Система устрашения, введенная повстанцами в качестве политического инструмента вовлечения крестьян в восстание, вошла в категорию особо подобранных умолчаний.

Следует, однако, напомнить, что от рук повстанческих «жандармов-вешателей» к осени 1863 года пало около 600 человек – в основном крестьяне, мещане, а также представители местной администрации и православные священники в Виленской, Гродненской, Ковенской и Минской губерниях [6]. Гораздо большее число людей стали жертвами физического и психологического насилия. Волну политических убийств мирного населения администрация М.Н. Муравьева смогла остановить только после того, как отряды восставших были разбиты и рассеяны войсками не без помощи местного населения и старообрядцев. Одновременно сотни крестьян получили награды от правительства за участие в подавлении восстания и задержание его участников [7]. Анализируя мотивы и действия противоборствующих сторон, можно сделать выводы относительно характера событий, происходивших в это время на территории Северо-Западного края. Революции неизбежно порождают гражданские войны. Поэтому национальная борьба поляков за восстановление независимости Речи Посполитой привела к серьезным политическим и социальным конфликтам среди населения этого региона. Столкновения, происходившие в ходе восстания между повстанцами, польскими помещиками, с одной стороны, белорусскими крестьянами и старообрядцами – с другой, позволяют охарактеризовать эти события в качестве реальных эпизодов гражданской



Виленский генерал-губернатор М.Н. Муравьев

войны, вспыхнувшей в крае на основе политического, социального и религиозно-этнического противостояния.

Достаточно напомнить, что практически все участники восстания – шляхта и небольшая часть крестьянства – были католиками. Так как религиозная идентификация в это время носила расширительный характер и определяла собой идентификацию этническую, католики называли себя поляками, а православные – русскими. В этом восстании все православное крестьянство, составлявшее абсолютное большинство славянского населения края, проявило лояльность к законному правительству.

Учитывая практику игнорирования либо поверхностного освещения проблем гражданского противостояния в крае, нельзя не прийти к выводу о том, что представители национальной историографии не могут простить М.Н. Муравьеву того, что белорусское крестьянство в подавляющей своей массе не поддержало восстания, сохранив верность российской монархии. Тогда становится понятной внешне парадоксальная общность позиций, занятых представителями советской и национальной историографии в отношении личности и деятельности Виленского генерал-губернатора. Их объединяет апология революционных, насильственных методов решения сложных социальных и национальных проблем. Те и другие принимают в качестве научной истины марксистский тезис о революциях как о локомотивах истории. Применительно к интерпретации восстания это значит, что только польским революционерам-радикалам, то есть «красным», предписано выражать подлинные социальные и национальные интересы белорусского населения, в то время как российская власть, признанная в качестве представителя эксплуататорских классов, на это не способна априори. Даже в эпоху «великих реформ».

Следовательно, только революционный проект преобразования политических и социально-экономических условий существования Северо-Западного края может монополично выступать в качестве исторически прогрессивного, а значит, и соответствующего национальным интересам белорусов.

Эта уверенность, основанная на сугубо идеологических предпочтениях авторов, позволяет создавать мифологизированный вариант интерпретации исторических событий, в котором М.Н. Муравьев предстает в образе насильника-русификатора, надолго искоренившего «все проявления революционной и возрожденческой деятельности» [8]. Попросту говоря, образ классового врага и реакционера, созданный в советской историографии, прагматически трансформируется, не теряя своих прежних отрицательных черт, в образ врага национального, без создания которого героический миф о «борьбе за волю и лучшую долю», что вели «революционные демократы», теряет свою убедительную силу.

Как же возникла эта внутренне противоречивая идеологическая конструкция, в которой борцы за национальную независимость Речи Посполитой должны самоотверженно сражаться за социальное и национальное «освобождение» белорусского народа, а М.Н. Муравьев выступать в роли душителя этой свободы? Если признать конструкцию убедительной, тогда как прикажете воспринимать общепризнанную цель восстания – границы 1772 года, возвращающие белорусский народ в состав Польши? Возникает вопрос и о перспективах польской ассимиляции белорусов при победном исходе восстания, особенно с учетом опыта существования их как этнического меньшинства в Польской Республике в 1921–1939 годах. Можно ли тогда серьезно говорить о необходимости такого национального освобождения?

Отвечая на эти вопросы, следует обратить внимание на шкалу предпочтений и антипатий, которой пользуются представители национальной историографии. В соответствии с ней борцы за независимость Речи Посполитой заслуживают сочувствия и уважения, а вот защитники и сторонники Российской империи лишь осуждения и забвения. Не останавливаясь на проблеме допустимости пристрастий и предпочтений в работе историка, обратим внимание на идейный источник возникновения подобных предпочтений. В качестве такового можно назвать небезызвестный ленинский тезис о России как «тюрьме народов». В применении

## ЛИТЕРАТУРА

1. Савельева, И.М. Полетаев, А.В. «Национальная история и национализм». // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «История России». – 2006. – № 2 (6). – С. 18–20.
2. Нарысы гісторыі Беларусі: у 2 ч. Ч. 1. – М. Касцюк (гал. рэд.) і інш. – Мн., 1994. – С. 328; Гісторыя Беларусі з 1795 г. да вясны 1917 г. // Пад рэд. праф. І.П. Крэня, дацэнта І.І. Коўкея. – Мн., 2001. – С. 169; Гісторыя Беларусі: у 6 т. Т. 4. Беларусь у складзе Расійскай імперыі. (канец XVIII – пачатак XX ст.). // М. Біч, В. Яноўская, С. Рудовіч і інш. – Мн., 2005. – С. 242; Таларонак С.В. Генерал М.М. Мураўёў-Віленскі. – Мн., 1998. – С. 41–42.
3. Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. Ч. 1. – М. Касцюк (гал. рэд.) і інш. – Мн., 1994. – С. 328.
4. Архивные материалы Муравьевского музея, относящиеся к польскому восстанию 1863–1864 гг. в пределах Северо-Западного края. В 2 ч. Ч. 2. Переписка о военных действиях с января 10-го 1863 года по 7-е января 1864 года. Сост. А.И. Миловидов. – Вильна, 1915. – С. LIV.
5. Кастусь Каліноўскі. За нашу волнасьць. Творы, дакументы. – Мн., 1999. – С. 45, 104–105.
6. Отдел Рукописей Российской Национальной Библиотеки. Ф. 629. д. 186. Л. 1–55; Сидоров, А.А. Польское восстание 1863 года. Исторический очерк. – СПб., 1903. – С. 228; Мосолов, А.Н. Виленские очерки 1863–1864 гг. (Муравьевское время). – СПб., 1898. – С. 27; Брянцев, П.Д. Польский мятеж 1863 г. – Вильна, 1892. – С. 263.

7. Мосолов, А.Н. Виленские очерки 1863–1864 гг. (Муравьевское время). – СПб., 1898. – С. 8., Граф, М.Н. Муравьев. Записки о мятеже в Северо-Западном крае 1863 г. Русская старина. – № 11. – 1882. – С. 422–423; Дневник П.А. Валуева, министра внутренних дел в двух томах. – Т. 1. – 1861–1864. – М., 1961. – С. 221. Государственный исторический архив Литвы. Далее ГИАЛ. Ф. 378. оп. 1863. Д. 1393. Л. 1–12.
8. Біч, М. Паўстанне 1863–1864 гг. Кастусь Каліноўскі. – Гістарычны альманах. – Т. 6. – 2002. – С. 38.
9. Кастусь Каліноўскі. За нашу вольнасць. Творы, дакументы. – Мн., 1999. – С. 35–36.
10. Всеподданнейший отчет графа М.Н. Муравьева по управлению Северо-Западным краем (Всеподданнейший отчет графа М.Н. Муравьева по управлению Северо-Западным краем (с 1 мая 1863 г. по 17 апреля 1865 г.). // Русская старина. – 1902. – № 6. – С. 490–452; Политические записки графа М.Н. Муравьева. // Русский архив. – 1886. – № 6. – С. 187–199.
11. Жиркевич, А.В. Сонное царство великих начинаний (к столетнему юбилею дня рождения Ивана Петровича Корнилова). Вильна, 1911. – С. 8–9.
12. Біч, М. Паўстанне 1863–1864 гг. у Польшчы, Беларусі і Літве. – Энциклапедыя Гісторыі Беларусі. – Т. 5. – Мн., 1999. – С. 450; Каўка, А. Беларускі вызваленчы рух: спроба агляду. – Спадчына, 1991. – № 5. – С. 6; Гісторыя Беларусі: у 6 т. – Т. 4. – Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII – пачатак XX ст.). // М. Біч, В. Яноўская, С. Рудовіч і інш. – Мн., 2005. – С. 243.

к историографии это значит, что России предписана роль угнетателя, а белорусам – роль жертвы колониального и национального угнетения. Однако указанный идейный источник не раскрывает в полной мере содержание противоречий, на которых строится вышеозначенная идеологическая конструкция. Действительно, каким же образом российский реформатор М.Н. Муравьев превратился в злого демона белорусской истории, а польские революционеры, в частности В. Калиновский, стяжали лавры ее героев? И это притом, что Калиновский, выражавший, по мнению историков, интересы народа, был жестким и последовательным сторонником уничтожения в крае Православной церкви, к которой абсолютное большинство этого народа принадлежало [9]. Обратимся к фактам. Многочисленные документы свидетельствуют, что политика М.Н. Муравьева была направлена против социально-экономического, культурного и религиозного доминирования польско-католического меньшинства над православным крестьянским большинством. Свою задачу генерал-губернатор видел в том, чтобы с помощью системы специальных мер остановить, а затем обратить вспять польско-католическую экспансию и связанные с ней процессы этнической ассимиляции белорусов. Системно структурированные социально-экономические и культурные реформы, предпринятые в защиту «православия и русской народности», должны были предотвратить всякие попытки поляков аннексировать край и приобщить его к этнической Польше [10]. Реформы, проведенные М.Н. Муравьевым в интересах крестьянского большинства, придали новый импульс процессам системной модернизации края и формирования русского этнического самосознания православных белорусов. Сам М.Н. Муравьев характеризовал содержание своих реформ следующим образом: «Русскому правительству следовало бы соорудить в Вильне памятник с надписью «Польскому мятежу – благодарная Россия». Важнейшим, труднейшим и первостепенным делом в Северо-Западном крае является не укрощение мною польского, в сущности, бессильно-

го мятежа, но восстановление в древнем искони-русском Западном и Литовском крае его коренных, исторических, русских начал и бесспорного, преобладающего первенства над чуждыми России, пришлыми элементами» [11].

Учитывая все вышесказанное, следует заключить, что усилившееся в наше время продуцирование негативных характеристик М.Н. Муравьева и его реформ стало возможным только потому, что национальная историография смогла модернизировать марксистский миф о восстании 1863 года. Его революционно-демократическое и интернационалистское содержание было дополнено национальной версией о наличии в восстании особого белорусского «течения», идейным выразителем которого, без серьезных научных обоснований, был объявлен В. Калиновский [12].

Теперь становится понятной и странная с точки зрения логики и исторического опыта апология восстания, поменявшего теперь свои подлинные цели и этническую маркировку, игнорирование жертв повстанческого террора и повторная «демонизация» М.Н. Муравьева.

Предпринятый интеллектуальный прием, не подкрепленный убедительными доказательствами, позволил только внешне преодолеть указанное логическое противоречие. Это произошло потому, что отбор лиц, действующих в белорусской истории, определяется прагматической ориентацией национальной историографии. Если В. Калиновский утверждается в роли «национального» героя, то М.Н. Муравьеву, соответственно, приписывается роль антигероя. Неудивительно, что при таком отборе российский реформатор, значительный по масштабу своей личности и реальному воздействию на весь ход белорусской истории, подвергнут историческому остракизму, в то время как один из польских революционеров, безуспешно пытавшийся с помощью террора, популистской пропаганды и ксенофобии вызвать крестьянские выступления, вознесен и прославлен. Очевидно, все-таки пришло время применять нормы профессиональной историографии ко всем периодам отечественной истории. ■